



Живет в Уфе (Россия).

Мама

В палате мужской событие – прибыл новый жилец. Не плачет, не стонет, только глазами хлопает. «Малявка из-под ножа, а не ноет, гляди, молодец», – старожилы судачат под медсестричкины хлопоты.

Впрочем, жилец пока под цвет простыни, и взглядом ищет кого-то около. «Мама, ты не уйдешь?», – не голос – нить, тоньше, чем та, что правый бок заштопала.

Женщина лет сорока кивает, опухшие пряча глаза. Жилец просит пить, и ему промокают губы смоченной ваткой. А за окном райбольницы – гроза, и море боли – по самую крышу – еще не идет на убыль.

Голос срывается: «Мама, так жжет в боку, устала спина, можно перевернуться?»

Соседи ворчат: терпи, по боку боль мужику, и один – напротив – шумно тянет из блюда чай. А жилец, пытаясь пустыню сглотнуть, царапает небо, в жажду, как в сеть, запутан, и, кажется, просто приснился недавний путь из деревни в больницу, на хлебозовозке попутной, по ухабам, в кабине, отец держал на руках, говорил: хочешь выжить – значит, придется резать.

Жить хотелось.

Жилец возвращался издалека, полз по песку голышом на свет и на голос резкий, зовущий то ли на ужин, то ли на жизнь.

Мама держала за руку, как за ниточку шар воздушный. Чтобы остаться рядом, мыла больничные этажи, поправляла лежащим подушки, а под утро дремала на голом полу под кроватью. Однажды засобиралась, сказала, вернусь к полудню, так что не будет самую

малость.

Прибежала под вечер. И замерла у двери.

А мужики ей: нет больше нашей невесты.

Дочку-то вашу нынче перевели.

В женской палате освободилось место.

Черный зонт

Сиганула с крыши сарая, насмотревшись про Мэри Поппинс. Черный зонт со сломанной спицей не взмыл.

Отец грозился намылить шею, а бабушка говорила, что зря я, и надо просить прощения у землицы за то, что ударила ее... мягким местом.

Я ныла, держась за живот, упиралась, мол, это она меня, так не честно...

Бабушка улыбалась: а ты попроси, и боль уйдет – средство верней, чем лед – материнское сердце земли не камень.

Но я больше верила синякам и меньше всего молитве.

Хотя слова (или боль) вызывали озноб, и я прислоняла упрямый лоб к тайне, и, казалось, слышу ее под лопатками – слитый с дыханием стук – первый миротворящий звук, родившийся прежде света. Конечно, вряд ли я думала так об этом, просто, наверно, еще не забыла и знала наверняка: сильнее и чаще – тревога, размеренный голос Бога звучит в нас, не умолкая, а боль – это страх потолка, когда срываешься с края и не можешь взлететь.

Но дети не верят в смерть.

И, значит, боль мимолетна.

С тех пор много лет для погоды нелетной – черный со сломанной спицей зонт.

Может, когда-нибудь в старости испробую розовый, как мечта безупречный, чтоб без угрозы тяжких телесных увечий земле спланировать за горизонт.

Фантики

Конфетные фантики пахнут начинкой лета:

беспечностью, солнцем и островом Чунга-Чанга,

дождем пралине, карамельного цвета плодом,

черемухой спелой, неведомым фруктом манго,

костром, жженым сахаром, сладкой чердачной пылью,

сосновой смолой и порванным новым платьем

на старом заборе (здесь помнится подзатыльник),

молочной росой, свежескошенной на закате,

ночевкой на сеновале, душицей, мятой,

глазурью небес, душистым горошком звездным

в дырявой крыше, сонной травой примятой

и мармеладом с котлетой на завтрак поздний,

вишневым вареньем, ёлкой и снова летом...

а рот до ушей в шоколаде – надолго хватит.

Будто вернулся и гладишь знакомый фантик
развернутой сыном

конфеты

[Страница автора в сети](#)

О себе

В детстве я собирала фантики. Когда было грустно, хотелось сладкого, или в негулятельную погоду это шелестящее ароматное сокровище извлекалось, раскладывалось, разглядывалось, ощупывалось и обонялось.

Теперь, когда грустно и хочется сладкого, я проделываю примерно то же самое с лучшими мгновениями детства.

Вот думаю: или уже впадаю, или еще не выпала?

